

Д.Н.Мамин-Сибиряк. Избранные произведения для детей / Рисунки
Е.Мешкова. //Государственное Издательство Детской Литературы,
Москва, 1962
FB2: "Miledi ", 2008-03-08, version 1.0
UUID: 3acb071d-351f-102b-868d-bf71f888bf24
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

Кормилец
(Сказки и рассказы для детей)

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0009
III.....	.0012
IV.....	.0019
V.....	.0023
VI.....	.0026
VII.....	.0029
VIII.....	.0032

**Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк
Кормилец
*(Из жизни на Уральских
заводах)***



Маленький Прошка всегда спал как убитый, и утром сестра Федорка долго тащила его с полатей за ногу или за руку, прежде чем Прошка открывал глаза.

– Вставай, отчаянный!.. – ругалась Федорка, стаскивая с полатей разное лохмотье, которым закрывался Прошка. – Недавно оглох, что ли? Слышишь свисток-от!..

– Сейчас... Привязалась! – бормотал Прошка, стараясь укатиться в самый дальний угол.

– Маменька, что же я-то далась, каторжная, что ли?.. – начинала жаловаться Федорка, слезая с приступка. – Каждый раз так-то: дрыхнет, как очумелый...

– Прошка... а, Прошка!.. – крикливо начинала голосить старая Марковна и лезла на по-

лати с ухватом. – Ох, согрешила я, грешная, с вами! Прощка, отчаянный, вставай!.. Ну? Ишь куды укатился!..

– Мамка, я сейчас... – откликнулся Прощка, хватаясь за рога ухвата обеими руками.

– Да ты оглох, в самом деле: слышь, свисток-от насвистывает... Федорке идти надо, не будет свистеть для вас другой раз!

Заводский свисток действительно давно вытягивал свою волчью песню, хватавшую Прощку прямо за сердце. На полатах было так тепло, глаза у него слипались, голова давила, как котел, а тут – вставай, одевайся и иди с Федоркой на фабрику...

Пока происходило это пробуждение Прощки, Федорка торопливо доедала какую-нибудь вчерашнюю корочку, запивая ее водой. Прощка всегда видел сестру одетой и удивлялся, – когда это Федорка спит!

– Черти, не дадут и выспаться-то... – ворчал Прощка, слезая наконец с полатей и начиная искать худые коты[1] с оборванными веревочками. – Руки-то, поди, болят... вымахает за день-то. Мамка, дай поесть...

– Одевайся, нечего растабарывать, – на за-

воде поешь! – торопила Прошку мать. – Ишь важный какой... Разве один ты на заводе ро- бишь?..[2] Другие-то как?..

– Другие... – повторял Прошка за матерью и не знал, что сказать в свое оправдание, и только чесал скатавшиеся волосы на голове.

Федорке иногда делалось жаль двенадцатилетнего брата, и она молча начинала помогать ему: запахивала дырявый кафтанишко, подпоясывала тонким ремешком вместо опояски, завязывала коты на ногах, а Прошка сидел на лавке или на приступке у печки и чувствовал, как его давит смертный сон. Кажется, умер бы вот тут сейчас, только бы не идти на эту проклятую фабрику, что завывает своим свистком, как голодный волк...

Но Федорка никогда не жаловалась, и все у ней как-то горело в руках, – и Прошке делалось совестно перед сестрой: все-таки он, Прошка, мужик!

Федорка работала на дровосушных печах и всегда была в саже, как галка, но никакая сажа не могла скрыть горячего румянца, свежих губ, белых зубов и задорно светившихся серых глаз. Всякая тряпка сидела на Федорке

так, точно она была пришита к ее сбитому, крепкому, молодому телу. Рядом с сестрой Прошка в своих больших котах и разъезжавшемся кафтанишке походил на выпавшего из гнезда воробья, особенно когда нахлобучивал на голову отцовскую войлочную шляпу с оторванным полем. Лицо у него было широкое, с плоским носом и небольшими темными глазами. Конечно, Прошка тоже был всегда в саже, которой не мог отмыть даже в бане.

– Ну, совсем?.. – ворчала Федорка, когда одевание кончилось. – Уж второй свист сейчас будет. Другие-то девки давно на фабрике, поди, а я вот тут с тобою валандаюсь...

– Ума у вас нет, у девок, вот и бежите на фабрику, как угорелые!.. – важно говорил Прошка, заранее ежась от холода, который ожидал его на улице. – Мамка, я есть хочу...

– Ладно, там дам, как придем, – говорила Федорка, торопливо засовывая за пазуху узелочек с завтраком.

Марковна почесывалась, зевала и все время охала, пока дети собирались на фабрику, а потом, когда они уходили, заваливалась на полати спать... Ленивая была старуха, и как-

то всякое дело валилось у нее из рук. Она Постоянно на что-нибудь жаловалась и все говорила про покойного мужа, который умер лет пять тому назад.

Выйдя за дверь, Прошка всегда чувствовал страшный холод – и зимой и летом. В пять часов утра всегда холодно, и мальчик напрасно ежился в своем кафтанишке и не знал, куда спрятать голые руки. Кругом темно. Федорка сердито бежит вперед, и, чтобы держаться за нею, Прошке приходится бежать вприпрыжку... Он понемногу согревается, а ночной холод прогоняет детский крепкий сон.

Избушка Марковны стояла на самом краю Першинского завода, и до фабрики было с версту. В избах кое-где мелькали огни, – везде собирались рабочие на фабрику. На стеклах маленьких окошек прыгали и колебались неясные тени... По дороге то и дело скрипели отворявшиеся ворота, и из них молча выходили рабочие и быстро шли по направлению к фабрике. Иногда попадались Федоркины подружки – Марьки, Степаньки, Лушки. Вместе девушки начинали бойко переговариваться, смеялись и толкали одна другую. Эта болтовня бесила Прошку. «Дровосушки» (так звали поденщиц, которые работали на дровосушных печах) хохотали еще больше и начинали дразнить Прошку. С ними перешучивались парни, шагавшие на фабрику с болтавшими на руках вачегами и запасными прядениками.[3]

Рабочие кучками шли по берегу заводского пруда, поднимались на плотину и потом исчезали в закопченной заводской сажей в воротах караульни. Глухой сторож Евтифей вы-

глядывал из окошечка караульни и вечно что-то бормотал, а рабочие спускались по крутой деревянной лесенке вниз, к доменной печи, где в темном громадном корпусе всегда теплился веселый огонек и около него толпились рабочие в кожаных фартуках – защитках.

Федорка провожала братишку до самого пожога,[4] где он «бил руду», то есть большие куски обожженной железной руды разбивал в мелкую щебенку. Пожог стоял в самом дальнем углу громадного фабричного двора. Снаружи виднелись только серые толстые стены, выложенные из крупных камней. Внутри пожог разделялся на два дворика: в одном постоянно обжигалась новая руда, а в другом – ее разбивали в щебенку такие же мальчуганы, как Прошка, да еще две пожилые женщины, вечно завязанные какими-то тряпками. В том дворике пожога, где били руду, по утрам всегда горел костер. Федорка подходила к огню, грела свои красные руки и сердито огрызалась от пристававших к ней мальчишек-рудобойцев, усвоивших уже все ухватки больших рабочих.

Оставив братишку в пожоге, Федорка то-ропливо уходила к дровосушным печам, где крикливо гудела целая толпа поденщиц-дровосушек, точно стая галок.

Собравшись в пожоге, мальчики начинали завтракать, потому что дома обыкновенно не успевали проглотить куска.

Их было человек пятнадцать, от десяти до четырнадцати лет. Около костра образовывалось живое кольцо из чумазных лиц, торопливо прожевывающих свою утреннюю порцию.

Прошка чувствовал себя лучше в этой подвижной толпе и быстро съедал оставленный Федоркой завтрак, обыкновенно состоявший из куска ржаного хлеба и нескольких картошек. Федорка всегда умела сделать так, что и ломоть хлеба у Прошки был больше, чем у нее, и картошка лучше. А когда в доме была нехватка в хлебе, Федорка отдавала все братишке, а сама перебивалась не евши. Прошка не видел этого и постоянно жаловался, что Федорка все лопает сама, а он, Прошка, всегда хочет есть...

– Эй вы, соловьи, чего расселись, – пора на работу! – кричал на мальчишек дозорный Павлыч. – Жалованье любите получать!..

Рудобойцы расходились по пожогу к своим

кучам руды. У всякого было свое место, и дозорный Павлыч осматривал перед обедом, сколько кто наробил. Все робили из поденщины, по десяти копеек.

Тяжело было приниматься за эту несложную работу, и Прошка всегда чувствовал, как у него ноет спина, а руки едва поднимают железный молоток, насаженный на длинном черенке. Все обыкновенно принимались за работу молча, и в пожоге было слышно только тюканье молотков по камню, точно землю клевала железными носами стая каких-то мудреных птиц...

Прошка работал недалеко от огня и скоро согревался за работой, спина и руки помаленьку отходили.

– Ай да молодцы!.. Похаживай веселее!.. – выкрикивал главный доменный мастер Лукич, пришедший посмотреть, ладно ли ребята крошат «крупу на кашу старухе». «Старухой» он называл доменную печь.

Лукич, широкоплечий бородастый мужик, с вечными шуточками и прибаутками, был общим любимцем на фабрике. По праздникам он подыгрывал на берестяной волынке,

когда рабочие затягивали заводскую песню. Он приходил на пожар, выкуривал трубочку около огонька, шутил с ребятами и уходил к своей «старухе».

В пожаре работали только сироты да дети самых бедных мужиков. Прошка, провожая Лукича глазами, думал о своем отце, который не пустил бы его на пожар, где работа была такая тяжелая, особенно по зимам... Другие ребята думали то же, что и Прошка, и в детские головы лезли невеселые мысли о той бедности, которая ждала их там, по своим углам...

– Нет тяжелее нашей работы, – толковали мальчики, делая передышку. – Из плеча все руки вымотаешь, а спина точно чужая... Едва встанешь в другой раз...

– А вот в корпусе славно робить, кто около машины ходит...

– Уж это что говорить: известное дело, – ходи себе с тряпкой да масло подтирай; вся твоя и работа, а поденщина та же.

– В тепле, главное.

– Страсть, как тепло. Пар из машинной так и валит, как двери отворишь!

Попасть в тепло, куда-нибудь к «машине», казалось счастьем для этих голодавших и холодавших ребятишек. Да на хороших местах перебиваются отцовские дети, а голытьбу не пустят... Вон у дозорного Павлыча сын там ходит; тоже у плотинного, у машиниста.

Дети завидовали счастливым и еще сильнее мерзли, работая до онемения рук.

Прошка колотился вместе с другими и в общем горе забывал свое.

Время до одиннадцати часов, когда «отдавали свисток» на обед, было самое тяжелое, точно и конца ему нет.

В одиннадцать часов гудел свисток, и рабочие шли домой обедать. На плотину из ворот Евтифея высыпала толпа рабочих, поденщиц, мальчишек. Все торопились, чтобы поесть и закусить. На фабрике оставались кое-какие рабочие, которым нельзя было отлучиться от своего дела; им приносили обед на фабрику. Маленькие девочки тащились к ним с котелками да бураками в руках и терпеливо дожидались, когда отцы или братья кончат обед, чтобы отправиться домой.

Когда-то Федорка тоже носила отцу обеды

на фабрику, а потом – Прошка. Отец работал в главном корпусе, у обжимочного молота, и обедал тут же, присев на чугунный «стул». Прошка сначала боялся этого корпуса, где стоял всегда такой шум и так ярко горели печи, где вечно капала вода, от водяного ларя тянуло сыростью, рабочие ходили с запеченными, красными лицами; где так пронзительно свистели, что Прошка вздрагивал и боязливо озирался по сторонам.

– Испужался, Прошка? – спрашивал отец, прожевывая кусок лукового пирога или обливая деревянную круглую ложку.

Отец Прошки был здоровенный мужик и смахивал на медведя. У него были кривые ноги, тонкие длинные руки... Когда он ворочал горевшее и сыпавшее искрами железо под обжимочным молотом, это сходство было поразительное: настоящий медведь, и только! По праздникам отец надевал простую кумачную рубаху, халат из тонкого сукна и непременно напивался. Ребятам он покупал каждый раз пряников, когда получал двухнедельный расчет.

Это было счастливое время для семьи Пис-

куновых, и Прошке оно казалось каким-то сном. Незадолго до смерти отец купил даже подержанный самовар. Но потом отец надсадился, поднимая упавшую со стула полосу железа, долго лежал больной и умер, оставив семью ни с чем.

Иногда Прошке делалось ужасно скучно. Улучив минуту, когда рабочие поужинали, мальчик любил бродить по фабрике и смотреть, как везде сидели облитые потом фигуры мастеров, а около них толклись маленькие девочки с бураками и узелками. В кричном корпусе, прижавшись куда-нибудь в темный угол, Прошка долго наблюдал, как ужинает главный мастер у обжимочного молота. Вот так же ужинал когда-то и отец Прошки, а сам Прошка стоял и смотрел на него.

«Вот буду большой, тогда сам в мастера пойду...» – соображал мальчик и видел себя в мягких прядениках, в кожаной защитке и в новых вачегах, какие были у отца.

Если бы отец был жив, тогда бы и Федорка не пошла в дровосушки, потому что отцовские дочери не идут никогда на фабрику.

– Уж замуж с поденщины не скоро вый-

дешь, – толковали рабочие, балагурия где-нибудь около огонька. – Тут уж шабаш.

В половине первого отдавали свисток на работу, а в семь вечера – с работы.

На смену дневным являлись ночные рабочие.

Доменная печь ночью топилась точно жарче, чем днем; железные трубы дымили сильнее, и далеко неслись лязг железа, окрики рабочих и резкие свистки...

Вся заводская жизнь строилась по свистку, и Прошка подолгу смотрел на хитрую медную машину, которая ворочала всем заводом. Ему казалось, что это что-то живое и притом очень злое: вырвется белая струйка пара и загудит на весь завод, только стон пойдет...

IV

Маленький Прошка работал на фабрике уже вторую зиму. Марковна стонала с осени, – как это мальчонко будет робить в стужу, когда у него нет ни шубенки, ни вале-нок, ни хороших варежек!

– И то прохворал в прошлую-то зиму недель шесть, – говорила Марковна. – Уж хоть бы он помер, што ли... не глядели бы глазыньки на ребячью маету!.. А много ли заработит и с Федоркой вместе: ей двугривенный поденщины да Прошке – гривенник... В выписку[5] дён двадцать приходится, ну, и принесут домой три рубля шесть гривен. Не много уколешь на них... Вон ржаная-то мучка восемь гривенок пуд; крупа, горох... а тут обувь надо, одежонку справить!..

– Маменька, что же нам делать, ежели уж так довелось? – отвечала иногда Федорка, которой нытье матери было хуже ножа. – Вот погоди, Прошка подрастет, тогда справимся...

– Сам-то когда был в живности, так по пятнадцати цалковых приносил домой в выписку! – не унималась старуха. – Легкое дело ска-

зять... Крупчатку покупали к пасхе, говядину; на все хватало. Другие-то вон как живут, только радуются, а нам без смерти смерть...

Марковна была из зажиточной семьи и прожила с мужем лет пятнадцать в полном довольстве, поэтому ей особенно была горька настоящая нужда. Как большинство заводских баб, Марковна никакой другой работы не знала, кроме своей домашности. Когда был муж, она еще с грехом пополам ткала пестрядину, а теперь и от этой работы отбилась, – не на что было купить льна, и пустые «кросна» стояли в сенцах. Вообще самая горькая нужда обошла семью Пискуновых со всех четырех углов и давила с каждым днем все сильнее и сильнее. В пять лет вдовства Марковна успела поразмотать все, что было нажито с мужем: лошадь, корову, хорошую одежду, два покоса, стоявшие в огороде срубы на новую избу и т. д. Нужно было пить-есть, а ребята остались невелички. Слава богу, по миру еще не ходили... Только вот Федорка попала на фабрику!.. Нехорошее это дело, да быть иначе нельзя, не с голоду помирать.

– Ты, смотри, Марковна, пуще наказывай

дочери-то, чтобы она не сбаловалась, – шушукали соседки.

– И то наказываю...

– Хорошенько учи, потому – какой у девки ум.

По силе возможности Марковна действительно «наказывала» дочери и часто доводила ее до слез. Федорка сначала огрызалась, потом начинала ругаться и кончала бессильными девичьими слезами. Да и как было не плакать: какая это жизнь? Работаешь, бьешься, недоедаешь, недопиваешь, в люди глаза показать не в чем, а тут еще мать пристаёт... У Федорки все платишко было на себе, да плохонькая «перемывочка», то есть разное тряпье, которое надевалось во время стирки Федоркина сарафана: рубаха и юбчонка с «подзором». Летом выйти в хоровод не в чем, а зимой – на супрядки или на вечёрки. Так Федорка и сидела у себя дома, стыдясь показаться в люди в своей заводской саже. Мать понимала ее положение, но помочь не умела... Да и чем тут поможешь, когда при дорогом заводском харче троим приходилось тянуть две недели на три рубля шестьдесят копеек? Толь-

КО-ТОЛЬКО НА ХЛЕБ ХВАТАЛО ДА НА КРУПУ.

Была у Пискуновых всякая родня, но ведь Бродные хороши только в богатстве да в достатке, а при бедности больше любят указывать: и то не так, и это не так, и пятое-десятое не ладно. Марковна везде по родне успела заниматься всячины – конечно, крохами – и терпеливо выслушивала всякие советы, на которые так щедра богатая родня. Федорка сторонилась от этой родни, и ее попрекали гордостью.

– Без них тошнехонько!.. – отвечала она обыкновенно пристававшей матери. – Сажу свою заводскую пойду казать им, што ли?..

К тому же наступившая вторая зима Прошкиной работы приводила Федорку в отчаяние. Где взять ему пимы,[6] шапку, шубенку?.. Ведь это, ежели считать, так рублей на семь хватит, да еще и не укупишь на семь-то, потому и варежки нужны двои на зиму-то, и рубаха, и порты...

Иногда Федорку просто брала какая-то одурь от этих расчетов; ей наяву начинали грезиться роковые семь рублей: она с откры-

тыми глазами видела две трехрублевых зелененьких бумажки и одну желтенькую рублевку... Часто, глядя на кого-нибудь из рабочих, она думала об этих деньгах и видела их, – как три бумажки лежат завязанные в уголок платка и тянут ее к себе. Вон у Лукича, рассказывают, сколько денег-то, у дозорного Павлыча, у других мастеров, которые в выписку получают рублей по пятнадцати...

Эти неотступные мысли преследовали Федорку и дома и на работе. Таская дрова в печь и обратно, она все думала свое.

«Вот бы только вырастить Прошку, опять будет „кормилец“ в доме, и уйду с завода...»

Зато другие дровосушки, щеголявшие в кушачных платках и в ситцевых новых сарафанах, постоянно донимали Федорку разными смешками.

– Федорка, ты смотри не выйди замуж за Павлыча; он к тебе што-то больно приглядывается ноне! – кричала рябая и курносая Степанька.

– Отстань, короста...

– Девоньки, наша Федора скоро пойдет в гору... – смеялись другие дровосушки. – Она

Глаза только отводит!

Дозорный Павлыч, степенный и румяный мужик, действительно засматривался на Федору.

VI

А зима уже наступала. За ночь несколько раз выпадал первый снежок, таявший на другой день. Нужно было решить вопрос о Прошкиной одежде. Федорка, когда выгружала сухие дрова из печи, несколько раз всплакнула.

Раз в углу темной дровосушки ее поймал вихлястый Антошка... Федорка тихо всхлипывала, как плачут дети.

– Федорка, да ты это што? – онемел Антошка, выпуская из рук плакавшую девушку.

– Убирайся к черту!..

– Вот те и раз!.. Федорка, да ты о чем это решишь-то?..

– Отвяжись!

Антошка положительно не знал, что ему делать, и почесывал за ухом, стоя около Федорки. Федоркино безмолвное горе тронуло его, но он не умел даже спросить ее, о чем она ревет, и стоял, как пень...

Смущение Антошки вдруг растрогало Федорку. Она работала на фабрике третий год и еще ни от кого не слыхала доброго слова, не

видела искреннего участия... Ей вдруг захотелось рассказать Антошке все, что у нее накопилось на душе, и она ему рассказала, торопливо глотая слова и размазывая по лицу слезы, мешавшиеся с сажей. Антошка выслушал все, почесал в затылке и только развел руками. У него тоже не было денег. Это движение разозлило Федорку: разве она к деньгам приговаривается!.. Федорка тяжело замолчала...

– Ну, вот и осердилась! – ласково говорил Антошка, стараясь опять обнять Федорку.

– Отстань, короста!..

– Постой... А ты вот что, Федорка, – обрадовался неожиданно Антошка, – мы дело и без шубы сварганим... верно!.. И без пимов и без шубы Прошку приспособим...

– Мели пуще, пустая башка!

– Верно говорю: надо его, Прошку-то, в машинную определить. Ей-богу!.. Это уж Павлыча дело. Попроси его...

– Лучше к черту пойду, а не к Павлычу.

– Ах, какая ты, Федорка! Ну, хошь, я Павлычу замолвлю словечко для тебя... Харюза[7] ему предоставляю и замолвлю...

Когда Федорка вышла из печи, замазанная

потоками слез, все дровосушки покатались над ней со смеху, но она ничего не замечала: ей вдруг сделалось так хорошо и тепло. Нашелся и для нее хороший человек...

VII

Когда начались сильные заморозки, Прошка попал в самое тепло – в машинный корпус.

Устроилось это так, как говорил Антошка: принес он с поклоном живых харюзов дозорному Павлычу и в разговоре замолвил словечко за Федоркина брата Прошку, который околевал с холоду на пожоге.

– А ты что больно кручинишься за парнишку? – спросил только Павлыч, не подавая никакого вида.

– Да так... Вместе с работы ходим, так оно видно, как парнишка, значит, на холоду гинет.

– Так, так... Ну, поговорю я с плотинным да с надзирателем; может, и выгорит што...

От дозорного дело перешло к уставщику, от уставщика к плотинному, от плотинного к надзирателю; надзиратель посоветовался с записчиком поденных работ, и в конце концов Прошка очутился в теплом машинном корпусе с двумя другими мальчиками, одетыми в белые холщовые блузы, замазанные во-

рванью и машинным салом.

Прошка долго не верил своему счастью и долгое время ходил точно в каком-то сне. В корпусе было так тепло и светло, а работа самая небольшая сравнительно с битьем руды.

– Ну хорошо тебе теперь? – спрашивала Федорка брата.

– Уж так ловко, Федорка!.. Только больно утром сон долит!.. Смерть долит сон, потому теплынь у нас.

– А ты не спи... слышал?

– Тоже вот ись[8] больно охота, Федорка...

– Ну, старайся!

От тепла и легкой работы мальчик за зиму заметно поправился и выглядел таким здоровым и бойким. Федорка иногда любовалась им, наблюдая издали, как Прошка бегал по фабрике с другими ребятами.

– Мне, мамынька, теперь хорошо работать!.. – хвастался Прошка, когда приходил на праздник в свою избушку.

– И слава богу, а ты старайся... потрафляй, Прошенька. Ласковое телятко двух маток совет...

– Я, мамынька, и то стараюсь!.. Когда ма-

шинист за водкой пошлет, так ровно молния дуешь в кабак, только голяшки сверкают... Верно!

Машинист в хорошем расположении духа иногда позволял Прошке «отдать свисток», и мальчик был в восторге, повертывая кран. Пар с хрипом бросался по железной трубке, и медный свисток гудел на весь Першинский завод своим волчьим воем. Прошка был в восторге, точно он собственными руками распускал по домам или собирал на фабрику сотни рабочих. Он даже с удовольствием вспоминал о недавней работе на пожоге, где теперь выматывали руки и спины на морозе другие дети. Иногда он для развлечения забегал на пожар посмотреть, как маются старые приятели. Мальчики смотрели на Прошку с завистью и обещали отдуть хорошенько при случае.

VIII

Только с одним никак не мог помириться Прошка: в тепле он просто «млел» от сна и, как крыса, ухитрялся засыпать по разным потаенным углам. Особенно по утрам донимал этот мертвый сон Прошку, и он ходил около машины, как шальной. Машинист, обходя машины, не один раз вытаскивал Прошку за ухо из таких мест, куда, кажется, не пролезть и лягушке, а Прошка ухитрялся спать, как зарезанный, не обращая внимания на грохот, свист и лязг работавшей машины.

– Эй ты, черт, куда залез? – ругался машинист, задавая Прошке приличную встрепку. – Вот уж попадешь в ремень или шестерню куда, так наотвечаешься за тебя.

Прошка скоро забывал эти хорошие советы, и его опять находили где-нибудь под вертевшимся колесом.

Раз ему машинист поручил наблюдать какой-то клапан у паровика – ослабла пружина, и машинист боялся, чтобы кого-нибудь не обожгло паром.

Дело было ранним утром. Прошка крепил-

ся, сколько мог, и кончил тем, что заснул на полу под самым клапаном. Машинист вспомнил о нем только тогда, когда из клапана вырвалась с оглушительным свистом струя горячего пара и наполнила всю машинную белой сырой мглой. Прошка был обварен паром, как рыба, и его без памяти привезли домой в таком виде, что Марковна никак не могла узнать своего Прошку. Лицо и шея у Прошки превратились в один сплошной пузырь, глаз не было видно, и кожа отставала от живого мяса лоскутьями.

Приехал заводский фельдшер, посмотрел больного, обложил его примочками и долго качал головой.

– Родимый мой... голубчик!.. Один ведь он у меня! – голосила Марковна, валяясь в ногах у фельдшера.

– Что же делать: сам виноват... Его на дело поставили, а он уснул. Будем лечить, может, и поправится.

– Да ведь мальчонка!.. Еще велико ли место! С кого взыскивать-то!.. И большой заснет в другой раз...

– Это уж не мое дело.

Дня через три Прошка как будто немного отошел и начал говорить. Федорка и Марковна не спали над ним ночей и думали, что он поправится.

Но эта надежда не сбылась: болезнь повернула круто назад, и Прошка опять впал в забытие и просыпался только затем, чтобы бредить.

Больше всего его беспокоил фабричный свисток: как только загудит, – больной мальчик порывался соскочить и начинал бредить фабрикой, искал шапку и свои коты.

Особенно была страшна последняя ночь.

Уставшая Марковна заснула на полу, а Федорка караулила больного. С утренним свистком она уходила на работу. С вечера Прошка сильно метался и бредил, а к утру затих. Федорка тоже чуть не заснула, но ее разбудил шепот больного:

– Фабрику... скорее... слышишь!..

Действительно, гудел свисток, сзывал на работу...

Вскочила Федорка, взглянула на Прошку, а он и дышать перестал.

Со смертью Прошки у старой Марковны не

осталось больше никакой надежды.

Не осталось и у Федорки надежды вырваться с заводской поденщины.

Так и сгинула вся семья.

Примечания

Коты – кожаная обувь, вроде тяжелых ботинок. (Примеч. автора.).

[^^^]

2

Робить – работать. Так говорят в Пермской стороне. (Примеч. автора.).

[^^^]

Вачеги – подшитые кожей рукавицы; пряде-
ники – пеньковые лапти. (Примеч. автора.).

[^^^]

Пожог – часть завода, где обжигают руду.
(Примеч. автора.).

[^^^]

На горных заводах плата рабочим выдается через две недели; это и называется выпиской. (Примеч. автора.).

[^^^]

Пимы – валенки. (Примеч. автора.).

[^^^]

Харюз – рыба. (Примеч. автора.).

[^^^]

Исъ – есть.

[^^^]